

РАССКАЗЫ

МУЗЫКАНТ

Повышение цен в нашей служебной столовой начальство объяснило новым сервисом. Специально подобранные девчужки убирали со столов остатки пищи, наводили чистоту. Разряженные в униформу (голубые передники с белыми оборочками), они неслышно, с напряженными от усердия личиками сновали между столами. Видимо, им запрещалось говорить с посетителями и даже улыбаться. Такой новоявленный менеджмент! Я обратил внимание на то, что самые усердные из этих девочек, заметив, что кто-то завершал трапезу, останавливались чуть поодаль и переминались с ноги на ногу. У меня была привычка, поев, посидеть, поговорить с тем, с кем делил застолье. Но как это делать, когда девочка-подросток маячит в ожидании, что ты наконец прекратишь точить лясы. Как-то я подозвал одну из них, посмотрел на нее в упор и сказал громко, что она «голубоглазенькая». Девочка покраснела. Позже, бывало, как увидит меня, слегка улыбнется и глаза отведет.

После повышения цен мой коллега Симон перестал ходить в столовую. В ответ на предложение отобедать он впадал в обличительный пафос:

— Я должен сильно поиздержаться для того, чтобы потом испытать облегчение, узнав, что твои объедки уберет некое ангелоподобное существо! Вот тебе и весь «севриз»!

Была у него такая манера — слова коверкать, когда ерничал. Таким образом он пародировал свою тещу — малограмотную особу.

В перерыв Симон стал спускаться к станции метро, где в ларьке покупал два пончика, один пирожок с мясом и бутылочку фанты. Потом через подземный переход направлялся в сквер, где, разместившись у фонтана, обедал. В этот момент на него нисходило умиротворение. После трапезы Симон тщательно мыл руки и губы у колонки с водой, вытирал их салфеткой, клал салфетку и порожнюю бутылку в целлофановый пакетик и выбрасывал его в урну.

Но одно обстоятельство нарушило заведенный Симоном порядок...

В тот день в подземном переходе он притормозил — обратил внимание на уличного музыканта. Маленького роста, сухощавый мужчина (очевидно, русский) играл на гитаре и пел. Обычных размеров инструмент казался непомерно большим в его руках. Надрывно тонкий голос достигал высоких нот. В этот момент жилы на его

Гурам Александрович Сванидзе родился в 1954 году в Тбилиси. Учился в Тбилиском государственном университете на отделении журналистики, окончил аспирантуру Института социологических исследований АН СССР в Москве. Кандидат философских наук. В течение двадцати лет работал в правозащитных организациях, из них шестнадцать — в Комитете по гражданской интеграции парламента Грузии. Автор сборников рассказов «Городок» и «Тополя». Неоднократно публиковался в русских, американских, израильских и грузинских журналах. Печатался в журналах «Нева», «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Урал».

тощей шее набухали, а сам певец словно вырастал, вставая на носочки. Но когда казалось, что лопнут от натуги связки и голос сорвется, он плавно переходил на более низкий регистр и принимал более устойчивую позу. Симон мало разбирался в музыке. Его больше забавляло то, как «работал» гитарист. Наблюдая за уличным музыкантом, Симон стоял в сторонке и старался не попасться тому на глаза. У ног исполнителя лежала деревянная коробочка. Платить за «концерт» не входило в намерения моего приятеля.

Наслушавшись, вернее, насмотревшись на певца, Симон не заметил, как машинально умял пирожки.

С той поры мой приятель завел правило — обед совмещать с бесплатным прослушиванием эстрадных песен в подземном переходе. Его удивляло разнообразие репертуара исполнителя. Тот пел на трех языках: русском, грузинском и английском.

Но однажды, спустившись в подземку, Симон услышал треньканье гитары и гнусавый голос какого-то юнца. Знакомый музыкант стоял в сторонке. Вся его фигурка изображала покорное ожидание. Когда мой приятель возвращался, юнец по-прежнему что-то блял, а русский мужчина терпеливо ждал. Несколько озадаченный, Симон, не останавливаясь, проследовал на службу.

Через некоторое время музыкант совсем пропал. Сервису нашей столовой Симон по-прежнему предпочитал пикник в сквере у фонтана. О «концертах» в подземном переходе стал забывать.

Прошло время, и мой коллега встретил музыканта на вокзальной площади, но в совершенно новой роли. Разинув рот, мой коллега наблюдал, как из автобуса санитарной службы города высыпали дворники с метлами — все в оранжевой униформе и с фирменными значками. Среди них выделялся старый знакомый. Маленького роста мужчина был аккуратно выбрит и пострижен, одежда отутюжена, обувь блестяла. Он проявлял энтузиазм, в какой-то момент погнавшись за обрывком газеты, который подхватил ветерок. Других дворников такое рвение товарища только забавляло. Они ухмылялись. В отличие от него, все они были небриты и неопрятны, фирменная униформа явно не первой свежести.

И вот через неделю мой не очень эмоциональный приятель чуть не изошел от прилива благостных чувств. Причиной стал тот самый музыкант-дворник. На маршрутном такси Симон, по делам службы, поднимался на Лоткинскую гору — в дальний район города. Шофер включил магнитофон. Песня, заполнившая салон, была специфической — тбилисский простонародный фольклор. Его обычно исполняют в дешевых ресторанах, где собирается не столь взыскательная по части культурных запросов публика. Симон вдруг оживился, заерзал на сиденье. Он узнал голос своего знакомого — надрывный тенорок с едва заметным русским акцентом выводил восточные рулады. «Неужели! Какой молодец, нашел-таки применение своим талантам!» — внутренне ликовал Симон.

Как-то я буквально силой заставил Симона спуститься со мной в столовую. На десерт мне хотелось поведать ему одну историю. Пока мы ели, он сидел напряженный и вроде как с опаской следил за девочками. Они, как обычно, легкими тенями передвигались по залу.

— Ты, конечно, помнишь Геру, нашего однокурсника? — обратился я к собеседнику и после его утвердительного кивка продолжил: — Вчера на улице случайно встретил его мать. Женщина выглядела несчастной. Она рассказала, что Гера потерял работу. Бедняга не выдержал, и у него произошел психический срыв. Он стал пропадать из дому. Причем с гитарой. На конечной станции метро в темном углу его застал родственник. Совершенно отрешенный Гера стоял и брэнчал нечто на гитаре, не замечая, что стоит по щиколотку в луже, что никто не обращает

на него внимания. Насколько помню, он не умел играть на гитаре. С помощью милиции его еле удалось привезти домой. Он еще гитарой отбивался, как булавой.

Симон сокрушенно кивал, когда слушал меня. Потом рассказал о музыканте из подземного перехода...

С некоторых пор я замечаю, что присматриваюсь к уличным музыкантам.

Вчера вечером, выходя из гастронома, я увидел одного из них — малого роста мужчину с гитарой, по внешности русского. Он пел тенорком. Бедняга приподнимался на носки, когда брал высокие ноты. Певец выглядел усталым, посеревшим, голос осип. Его небритое лицо было унылым. После того, как музыкант глянул в «копилку», на нем ясно читалось отчаяние. Видимо, коробочка была пуста. Певец разразился воплем. «Говно! Говно!!» — кричал он. Сидящие поблизости торговки семечками заулыбались жалостливо. Одна другой сказала:

— Каждый раз после неудачного дня вопит. Не матерится! Только кого он так называет?

Я подумал: неужели это знакомый Симона? Даже хотел было порасспросить о музыканте у торговок. Как я заметил, они ему сочувствовали, и не случайно. Мне довелось стать свидетелем сценки...

Гитарист был в сильном подпитии, качался из стороны в сторону. Видимо, после «рабочего дня» возвращался из питейного заведения. Без гитары. Вопреки обыкновению, он не пел, а насвистывал мелодию. Как всегда, на тротуаре, у деревянной ограды, недалеко от гастронома, уткнувшись в нее, лежала убогая нищенка. Низким голосом она изображала пение. Музыкант картинно-весело подбежал и склонился над ней, бросил в ее коробочку деньги. Та только заулыбалась, что, вероятно, делала редко. Торговки семечками участливо обменялись взглядами.

РАРИТЕТ

Кто собирает марки, кто этикетки, а я коллекционирую записи арии Неморино из оперы «Любовный напиток» Доницетти. Скачиваю их из Интернета. Сегодня эту арию я слушаю в исполнении тридцати двух выдающихся теноров и поиск продолжаю. Иногда зову своих домашних к компьютеру, чтобы вместе с ними насладиться шедевром. Они с удовольствием составляют мне компанию, пока я не начинаю донимать их тем, что заставляю слушать эту арию в исполнении разных певцов.

Сам я не пою. Сказался хронический фарингит. Однажды мне в горло заглянул врач и сказал, что голосовые связки висят у меня безжизненно вместо того, чтобы быть натянутыми, как струны. Только в моменты, когда кто-либо из теноров брал высокие ноты, я невольно открывал рот, будто вторил исполнителю, но не издавал при этом ни звука.

Недавно я говорил по телефону с Н. Л. Он слывет знатоком итальянской культуры. Даже вел специальную передачу по радио. Вообще, воспринимал он искусство, и итальянскую оперу в частности, весьма своеобразно. Из его передач можно было узнать, кто из композиторов чем болел, с кем из примадонн заводил интрижки. Только после таких рассказов он пускал в эфир фрагменты опер. Кстати, ему принадлежит «ценное» наблюдение, касающееся русской оперы. Татьяна в опере «Евгений Онегин» Чайковского вначале ведет себя как сумасшедшая, а под конец она — женщина с развитым здравым смыслом. «В мировом репертуаре происходит наоборот!» — говорил он авторитетно. Из его слов трудно было понять, плохо или хорошо в этом случае поступил либреттист.

Н. Л. — тип саркастичный, ревнивый, «свою территорию» защищал с остервенением, «дабы разные профаны не совались», как он выразился однажды. На мое увлечение он отреагировал сначала настороженно.

— Если ты обратил внимание, у нас эту арию иногда исполняют по разным печальным поводам, — заметил Н. Л. во время нашего разговора по телефону, — но опера ведь комическая. Простой крестьянский парень Неморино покупает на последние деньги эликсир любви и дает выпить возлюбленной. На самом деле некий шарлатан продает ему обыкновенное вино. И вот девушка тайком роняет слезинку, что для возлюбленного становится доказательством ее любви.

— Вот именно роняет слезинку, тайком, «Una furtiva lagrima», а не проливает слезы у всех на виду, — послышалось на другом конце линии.

Под конец телефонной беседы Н. Л. заметил, что такое увлечение не делает чести моему вкусу, дескать, попса все это. В ответ я сказал, что если сам Паваротти исполняет арию, значит, она не попса. В ответ Н. Л. хмыкнул:

— Ничто другое Лучано не исполняет так плохо, как эту арию, — как бы с ленцой.

— А как остальные тридцать два исполнителя, которых я записал в свой альбом?

— Это не аргумент. За свою жизнь я слушал столько исполнителей, раз в пять больше собранных тобой.

Я не стал оспаривать этот далеко не безупречный довод.

Несколькими днями позже я прохаживался по улице. Из окон первого этажа одного из домов до меня донеслись звуки «Аве Марии» Шуберта. Впав в экстаз, группа, очевидно дилетантов, не то пела, не то кричала. Иногда чей-то голос требовал следовать нотам, ритму. Некоторое время было слышно фортепьянное исполнение мелодии. Но дилетанты не унимались. Я оценил изысканность музыкальных пристрастий незнакомых мне людей, но не мог одобрить беспардонность, с какой они коверкали красивейшую из мелодий. В это время мимо проходил один старичок. Его тоже привлекло «неправильное» исполнение шедевра. В отличие от меня, он не стал предаваться размышлениям — неожиданно подошел к окну и постучал тросточкой по железной решетке. Пение прекратилось. Из окна выглянула удивленная физиономия хозяина. Старичок отступил назад и робко сказал:

— Вы неправильно поете.

...Это был Сандро Геронтьевич — наш бывший хормейстер.

Возраст сильно на нем сказался. Некогда поджарый, он утратил свою статью, но был по-прежнему мягок. Видимо, улавливать фальшь и истреблять ее стало для него наваждением, что подвигало его на поступки, подобные этому.

В нашей школе Сандро, кроме того, что руководил хором, вел еще уроки пения. Сразу отмечу, петь в его хоре мне не довелось. Я разделил участь двух парней и одной девушки. Их Сандро Геронтьевич «вычислил» сразу. Пальцем указал на каждого и сказал, что они свободны и на следующее занятие могут не приходиться. «Голос есть, но нет слуха!» — прозвучал вердикт. Потом он стал коситься на меня. Разделил хор на две части и заставил петь ту из них, в которой находился я. Затем еще раз поделил нашу половинку и заставил петь уже четвертинку, где опять-таки был я.

— Слух вроде имеется, но голоса нет, — прокомментировал хормейстер. Потом спросил озабоченно, не часто ли я болею ангиной.

Он заботился о чистоте звучания хора, но дисциплина была его слабым местом. Детишки строили ему рожи в спину, мальчики в хоре задирали девочек. Как бы сказали сегодня: «Ему не хватало харизмы». Поэтому на его занятиях «дежурили» педагоги по другим предметам. Некоторые из них даже вмешивались и давали советы. На меня, как портящего звучание хора, сначала указала учительница грузинского языка, а потом уже за меня принялся сам Сандро.

...Но помнить хормейстера у меня была еще одна причина. Из-за «поступка», который он себе позволил. Чего стоила одна его красная бабочка: она сформировала определенное к нему отношение. А тут еще...

Вообще, преподавать пение в школе у нас считалось неблагодарным трудом. Мы находились на том этапе созревания, когда подростковая одичалость достигает своего апогея. Это — когда «ненавидят школу», «ненавидят девчонок» (или наоборот) и когда нет ничего унижительней, чем стенная «дацзыбао»: некто + некто = любовь. Также зазорным считалось петь при всем честном народе и в таком неподобающем для этого месте, как школа. Уроки пения проводились формально — без... пения. В лучшем случае пересказывалось содержание песен или ученики зазубривали имена великих музыкантов.

В тот день у Сандро урок сложился. Класс был неожиданно милостив. Вероятно, под конец дня мы устали или на нас вдруг что-то «нашло». Во время урока стоял монотонный негромкий гомон. Педагогу, вконец замученному в других классах, он показался терпимым. Сандро был вне себя от благодарности и несколько раз лестно отозвался о классе. Учитель рассказал нам о композиторах и исполнителях. Тогда очень популярна была песня «Подмосковные вечера». На его предложение исполнить эту мелодию никто не отозвался. Сандро сам подал голос, что вызвало «нездоровые смешки» в классе. Тут бы ему остановиться, но нет...

Педагог глянул на свои ручные часы, поправил свою красную бабочку и обратился к классу:

— Ребята, я спою вам арию из итальянской оперы.

Никто ничего не сказал. Честной народ охватила оторопь. Сандро театрально сложил руки на груди, округлил губы, чуточку закатил глаза и чистым, но несильным тенорком запел «Una furtiva lagrima». Педагог старательно выводил мелодию, глаза даже несколько замаслились от умиления. Его тенор звучал в гулком помещении при полной тишине, которая могла только настораживать. Но вот исполнение закончилось. Тишина продлилась, я успел рассмотреть несколько удивленный и вопрошающий взгляд «маэстро», обращенный к классу. Взрыв дикого хохота и улюлюканья, переходящие в подвывания неоформившихся голосов, которыми исходили несчастные пубертанты, вызвал у него панику. Он быстро схватил школьный журнал и тросточку и удалился из класса. Вакхическое веселье продолжилось. Озабоченный воплями, доносившимися из класса, к нам забежал директор школы. Однако распоясавшийся контингент было не унять. К директору на помощь прибежал учитель физкультуры, известный своей склонностью к рукоприкладству... Прозвучал звонок, и все смолкли, страсти улеглись.

После такого «провала» жизни для Сандро в школе не стало. Он ушел, и некоторое время на уроках пения нам преподавали дополнительно то физику, то математику. Хора тоже не стало.

...Вчера в одной компании я встретил Н. Л. Мы долго беседовали на разные темы. Н. Л. недурственно исполнил на рояле несколько этюдов Шопена. Публика его обласкала, и он дал волю некоторым дурным особенностям своего характера. Например, отвратительно сплетничал. Когда мы прощались, Н. Л. не без иронии спросил меня о моей коллекции. Мол, есть ли пополнения. Было заметно, что он приготовился к тому, чтобы не удивиться.

— Да, имеется одно раритетное исполнение арии Неморино, — ответил я, — жаль, что не записал его в свое время. Тенор, наш, грузинский. Зовут его Сандро Геронтьевич С-швили.

Н. Л. напряг память, но такого исполнителя не вспомнил.

ОКТАБРЬ

Страсть Пааты к музицированию, овладевшая им в довольно почтенном возрасте, не могла показаться эксцентричной тем, кто знал его лет двадцать назад. Ему было тринадцать лет, когда он вдруг удивил всех игрой на фортепьяно. Многие из его сверстников умели играть на этом инструменте. В те времена считалось за правило хорошего тона определять детей в музыкальную школу. Если девочки еще как-то завершали полный курс, то мальчики к возрасту Пааты благополучно школу бросали. Впечатляло то, что первое произведение, которое в своей жизни исполнял Паата, была Четырнадцатая соната Бетховена, известная под названием «Лунная». Разобрал он ее самостоятельно по нотам, которые купил в магазине. В его доме не было инструмента, и он ходил по соседям, чтобы попеременно мучить их своими любительскими упражнениями. Позже, когда он предавался воспоминаниям о своем музыкальном прошлом и поминал шедевр Бетховена, непосвященные не верили, а посвященные допускали правдоподобность его ретроизлияний, но с оговоркой, что одолеть ему было под силу только первую часть. Мол, нотный текст простой, и техники особой не требуется.

Выводя томную элегичную мелодию первой части сонаты, Паата слегка закатывал глаза, видимо, все-таки от удовольствия, а не от страха допустить очередную ошибку. Что же тогда оправдывало труд, на который паренек обрек себя добровольно! Его не столь ловкие пальцы сбивались довольно часто, и весьма редко он доигрывал эту часть до конца. Через некоторое время, чтобы не докучать слушающим несовершенным исполнением, пианист-любитель исполнял избранные места и, особенно, экспрессивный конец. Здесь глаза уже не закатывались, а совсем закрывались. «Исполнитель» подолгу, не отпуская педаль, выдерживал заключительный аккорд, пока тот полностью не растворялся в воздухе, что весьма утомляло аудиторию. Однако она проявляла благосклонность. Зрители говорили о таланте Пааты. Хотя их больше завораживала серьезность предпочтений мальчика. Никто не догадывался, что способностей у него меньше, чем у тех его сверстников, кто умел на слух подбирать шлягеры и развлекал своим брэнчанием друзей на вечеринках.

В какой-то момент ввели себя в заблуждение и педагоги музыкальной школы, решившие, что набрали на вдруг раскрывшийся талант. Как и родители, которые долго присматривались к увлечению сына и наконец купили ему пианино. Сыграл роль хабитус Пааты: очки на интеллигентном лице, элегантно расположенные пальцы на клавишах. И еще — недетская меланхолия. Действительно, педагогов и родителей должно было насторожить то, что во время занятий музыкой мальчик питал интерес преимущественно к рекевиам и похоронным мелодиям. Паата их напевал (почему-то в нос), покупал соответствующие пластинки. Он даже пытался исполнять их.

Что из этих занятий получилось — Паата умалчивает. Наверное, из-за обманутых ожиданий. Невыносимо было наблюдать, как разочарованно разводят руками преподаватели. Проявляя неделикатность по отношению к ребенку, они пытались оправдать себя в собственных глазах. От учебы в музыкальной школе, которая длилась всего два года, остался этюд для беглости рук, который он вызубрил настолько, что пальцы сами выводили его на клавиатуре. Пианино в их доме надолго замолкло, а с некоторых пор привлекало внимание только тем, что на нем были помещены фото умерших родителей.

Потребность возобновить музыкальные опыты пришла к нему в самые трудные для всех времена. «Озарение снизошло» зимним утром. На улице было очень

темно, отчасти оттого, что власти позабыли перевести страну на зимнее время. В доме не было электричества. Паата сидел на краю постели. На ночь он не раздевался из-за отсутствия отопления. Ощущение несвежести донимало его. Вчера кончилась зубная паста, позавчера состоялся неудачный поход в баню. Она оказалась закрыта. Его меланхолия давно перешла в депрессию, проявлявшуюся разными формами тяжести. К тому же оставался неприятный осадок от недавнего стресса. Его, поздно возвращавшегося домой, недалеко от сгоревшей во время городской войны гостиницы, чуть не зарезал один имбецил — хотел денег. Паата отдал мохеровое кашне.

Предстояло идти на постылую службу, и не исключено, что в слякоть, пешком, потому что иногда не работало метро. Зарплата его не превышала, в пересчете с купонов, двух долларов в месяц. Он готовил себе чай на чадающей керосинке, заедая его хлебом с повидлом... Его нервировало, что зубы крошатся, что на кухню повадилась крыса, что дом затхлый, что обувь совсем прохудилась, что он так и не женился...

Вдруг показалось, что на душе полегчало. Он начал сипло напевать мелодию. Она долго плутала в извилах его затейливой души и теперь тихо пробивалась наружу. Вчера, прохаживаясь по проспекту Руставели, Паата обратил внимание на самодельный лоток, на котором лежали подержанные ноты. Ими торговал мужчина, плохо одетый, измученный. Но его глаза были ясными. Торговец ладно насвистывал мелодию из альбома «Времена года» Чайковского. Именно ее пытался воспроизвести Паата, напрягая свои слабые голосовые связки. Он встал с постели, надел очки и зажег свечу. Альбом с нотами в книжном шкафу нашел довольно скоро. Нашел и заветную пьесу — «Октябрь». Паата не стал трогать застоявшееся пианино, так как знал, что оно совершенно расстроено и ему его не настроить. Он не стал торопить события. Ноты еще долго лежали нетронутыми на письменном столе. Его переполняла спокойная уверенность, приятное предвкушение, которое хотелось продлить. Это свое качество он сам назвал садомазохистским после того, как прочел Эриха Фромма. «Намеренное откладывание момента удовлетворения, а не потакание ему — с этого начинается культура», — не без кокетства отмечал Паата про себя.

Из своего увлечения он хотел сделать маленькую тайну и не возражал, если ее невзначай откроют и при этом приятно удивятся.

Прошла неделя, пока он нашел старого приятеля-настройщика, бывшего джазмена. Настройщик был настолько пьян, что Паате пришлось держать его под руку и нести чемоданчик с инструментами. Хозяин молча выслушивал хмельные монологи бывшего джазмена, пока тот возился с внутренним убранством инструмента. Не выказывая нетерпения, он ждал, когда настройщик перебирал толстыми пальцами клавиатуру, играя композиции Элингтона, когда бубнил тосты, в одиночку распивая припасенную заранее хозяином бутылку водки, а потом бесконечно нудно прощался. Кстати, когда бывший джазмен был уже за порогом, он вдруг как бы опомнился и, обернувшись, спросил хозяина: «Зачем тебе было настраивать свою развалюху?» Паата не растерялся и ответил: «Хочу ее продать. Совсем нет денег. Выручу что-нибудь». Уходящий гость хотел возразить, но тут Паата стукнул дверью перед его носом.

Методично и спокойно Паата принялся за пьесу. Каждый вечер, после работы, он часами просиживал за фортепьяно. И вот через месяц сквозь энтропию, создаваемую не желающими слушаться пальцами, уже начинала проглядывать мелодия: очарование поздней осени, нега легкой грусти, уходящий вдаль последний караван перелетных птиц, пролетающих над оголенным садом, подавал голоса.

Кроме удовольствия, пианист-любитель находил в занятиях музыкой еще и пользу. Он чувствовал, что его самочувствие улучшалось и, следуя привычке все анализировать, пришел к выводу: «Мои пальцы задали алгоритм моему сознанию. Это тот случай, когда собственные конечности помогают отдохнуть тебе от самого себя!».

Жизнь обрела размеренность и перестала казаться чередой тягостных будней. Паата уже не мог нарушать распорядок. Приходилось даже отказываться от приглашений на разные parties. Они были настолько же редки, насколько предоставляли возможность нормально поесть.

А однажды его познакомили с одной привлекательной дамой. Познакомили не без умысла, и она сама об этом догадывалась. Во время беседы в какой-то момент новая знакомая прозрачно намекнула, что-де не прочь быть приглашенной на премьеру одного спектакля. Паата сделал неприлично длинную паузу, что стоило ему ее язвительного замечания: «Видимо, премьеры не про вас!» Откуда ей было знать, что именно в это время у Пааты «свидание» с фортепьяно. Он попытался исправить положение, но было поздно.

Как-то Паата попал на одни посиделки, где собиралась весьма интеллектуальная компания. При свете ламп, в холоде, потягивая плохо сваренный кофе, куря сигареты, гости говорили о Фрейде и т. п. Здесь Паата услышал много новых умных слов. Один знаменитый юноша использовал такое благозвучное выражение, как «эпиникии». Паата не рискнул выяснить, что оно означает. Обратила на себя внимание фраза одной психологини: «Художник не нуждается в зрителе. Пианист может играть и для себя только». «Неужели», — поймал он себя на мысли.

По мере того как улучшалось исполнение пьесы, ему мечталось произвести фурор, пусть «местного значения». Но произошла заминка. В автобусе Паата увидел девочку лет десяти, у которой в руках был нотный альбом Чайковского «Времена года». Он не выдержал и, улыбаясь с деланным умилением, спросил, не играет ли она что-нибудь из альбома. «Октябрь», — ответила девочка, раскрасневшаяся от странных по месту и содержанию расспросов. Покраснел и Паата. Он не предполагал, что эту пьесу исполняют чуть ли в начальных классах. Ему стало стыдно за себя. Однако буквально в тот же день вечером дали электричество, и Паата посмотрел репортаж с конкурса Чайковского, где в качестве обязательной программы для маститых исполнителей были пьесы «Июнь» и «Октябрь» из «Времен года». Он торжествовал, весь вечер не вставал из-за пианино. «Играют многие, но немногие исполняют!»

С некоторых пор у него появилось что-то вроде искуса: как увидит пианино или рояль, начинает его внимательно осматривать, поднимать крышку, подбирать аккорды. Паата знал, что в городе нет семьи, которая не имела бы собственного инструмента, но не мог представить, что весь Тбилиси заставлен пианино и роялями. Их можно было увидеть в самых неожиданных местах и в девяти случаях из десяти вконец обшарпанными и расстроенными — совершенный хлам. В каждом укромном углу Паате мерещились рояли-инвалиды. Оставалось гадать, кто, зачем и как доводил их до такого состояния. На одном заводе, в стороне от оживленной проходной, Паата обратил внимание на два стоящих впритык друг к другу пианино. Они посерели от пыли. Рядом находился столик, за которым восседал столетний старичок в форме пожарного. Он тоже был весь серенький от пыли. Его никто не замечал. Разве что Паата увидел, когда смотрел, по своему новому обыкновению, на вышедшие из употребления музыкальные инструменты.

Паата ждал подходящего момента, чтобы открыться, и... сдерживал себя. Надо, чтобы сначала из музыкантов кто-нибудь послушал. Может быть, что подскажут. И вот однажды он встретил на улице пьяницу-настройщика. Тот стоял у гастронома с собутыльниками. После дежурных взаимных расспросов о житье-бытье Паату вдруг осенило: а не пригласить ли бывшего джазмена к себе, музыкант все-таки. Настройщик сначала решил, что у Пааты проблемы с пианино. «До сих пор не продал?» — последовал вопрос. В ответ Паата загадочно улыбнулся. В гости

настройщик пришел без опоздания и трезвым. Немножко посидели за столом. Слегка разгоряченный хозяин вдруг подсел к инструменту, поднял крышку, помассировал пальцы, сделал паузу... и заиграл. Когда обернулся, посмотрел на гостя. Лицо джазмена выражало серьезность и сосредоточенность. Оно как будто даже изменилось и разгладилось. После некоторого молчания он сказал: «Больше жизни! Октябрь бывает каждый год! А вообще недурственно», — заключил он и налил себе водки в стакан. Паата приободрился.

С дебютом долго не получалось. Во время одного застолья у коллеги он предпринял попытку ненавязчиво привлечь внимание к своей игре. Подошел к пианино, открыл крышку, но неудачно. Он сам не услышал первых аккордов. Народ был уже разморен от питья и курева, и всех тянуло больше горланить что-нибудь застольное.

В другой раз он затеял исполнение пьесы в доме начальника. Паата имел неосторожность обыграть того в шахматы и потом начать исполнять элегичную мелодию на рояле. Это было воспринято как издевка. Плохо скрывая раздражение, шеф стал демонстративно обзванивать других подчиненных, устраивая некоторым из них разнос. Он проявлял совершенное равнодушие к проникновенному исполнению Чайковского у себя в доме.

Но так долго продолжаться не могло. Развязка получилась неожиданной...

Некогда у Пааты была любовь. Ее звали Нинель. Она работала с Паатой в одной организации в бухгалтерии. Это была кроткая и незаметная девушка. Но, присмотревшись, можно было разглядеть красивое лицо (особенно глаза), тонкие, почти прозрачные запястья и трепетные пальцы. Паата влюбился в нее в момент, когда она своими слабыми руками пыталась открыть тяжелую дверь холодного металлического шкафа. Забыв о премии, которая ему причиталась, он зарделся и предложил проводить девушку до метро.

Она жила в Сололаки, в некогда шикарном особняке, поделенном ныне на коммуналки. Нинель была из еврейской интеллигентной семьи. Ее родители-пенсионеры постоянно читали и принимали лекарства, поэтому дома у нее пахло библиотекой и аптекой. У стола неизменно неподвижно сидела древняя бабушка. Брат, как показалось Паате из рассказов, наиболее «живой» член семьи, уехал в Израиль.

Кротости Нинель не хватило на то, чтобы выносить его манеру долго предвкушать. У Пааты появился соперник. Его звали Беня. Он работал корректором в одном из институтов и был одухотворен до шизоидности. Беня был, мягко говоря, малого роста, к тому же еще согбен и худ из-за разных заболеваний. Но прямой взгляд и крепкое рукопожатие выдавали в нем характер. Как-то на улице один наглый милиционер прошелся насчет его не столь атлетического телосложения. Страж порядка был ошарашен, когда Беня полез драться, неловко размахивая руками-крючьями. Чтобы не прослыть обидчиком убогих, милиционер ретировался. Но обиженный продолжал преследовать его. Когда милиционер оглядывался, то его охватывало жутковатое чувство: с фатальной неизбежностью его пытался догнать низкорослый субъект с впалой грудью и иступленным взором. Он в панике бежал... Беня отбил у Пааты Нинель.

Паата быстро смирился с таким положением дел и даже поддерживал дружеские отношения с разлучником Беней. Некоторое время тот ревновал к своему бывшему сопернику, но вскоре утихомирился. Нинель же была занята своими проблемами: сначала умерла бабушка, потом отец, не складывалась жизнь у брата в Израиле. Но Паата помнил минуты счастья, которые их когда-то объединяли. Они подолгу, бывало, ворковали на разные темы, ходили в театр, кино. Нинель сама играла на фортепьяно — очень тихо, как будто слабые пальцы не справлялись с клавишами. Взгляды, полные любви, легкие прикосновения...

Ему вдруг захотелось, чтобы его маленький триумф разделила Нинель, его бывшая любовь.

В тот день он вызвался проводить Нинель до дому. Она согласилась. По дороге ему хотелось рассказать о своем увлечении, но он сдержался. «Только бы добраться до их старинного рояля», — думал Паата. Когда выходили из метро, он осведомился, не продала ли Нинель рояль. Она ответила, что подумывала об этом, когда умер отец, но в последний момент ее отговорил Бенья.

Дома никого не оказалось. Мать куда-то вышла, а Бенья был на собрании одной правозащитной организации. С некоторых пор он стал правозащитником. Тот факт, что он родился в воркутинском лагере, где отбывали срок его репрессированные родители, оказался весьма кстати для его нового поприща.

Паата и Нинель сидели молча за столом и пили кофе. Он косился на рояль, который стоял в углу комнаты, заставленный безделушками. Потом вдруг встал и подошел к инструменту. «Я хочу сыграть тебе пьесу „Октябрь“ из альбома „Времена года“», — сказал Паата робко и сел на крутящийся стул. Нинель выразила удивление и под села рядом. «Это моя самая любимая пьеса из этого альбома», — заметила она. Паата взял несколько аккордов для проверки состояния инструмента, потом опустил руки и голову... Ему казалось, что никогда еще он не играл так удачно. Как раз сейчас он нашел то, к чему стремился: звуки таяли, как тает надежда, тихо и неотвратно.

После того как отзвучала последняя нота, они сидели молча. Он чувствовал, как в нем поднимается волнение. Паата склонился чуточку в сторону Нинель и обхватил ее худенькие плечи. Она не сопротивлялась. Он начал покрывать ее лицо поцелуями, она не сопротивлялась. Тут громко стукнула дверь. На пороге стоял Бенья.

Бенья говорил гадости и издевался над «крутым неудачником» Паатой. Потом он потянулся ударить незваного гостя. Паата не выдержал и пнул Бенью. Тот упал. Поднялся переполох.

На следующий день на службе только и разговоров было о том, что Паата под каким-то неуклюжим предлогом наведился к Нинель, повел себя по-хамски, на чем его «застал» Бенья, и что Паата избил несчастного мужа. Никто и словом не обмолвился о Чайковском!